

Я все скажу

Автор:

Анна и Сергей Литвиновы

Я все скажу

Анна и Сергей Литвиновы

Знаменитый тандем Российского детектива. Новое оформление

Убит знаменитый актер Андрей Грузинцев – в своем особняке, на собственном юбилее, в окружении семьи и многочисленных гостей. С его пальца исчез старинный перстень.

И лишь единственный гость на празднике, поэт Богоявленский, знает, сколь знаменито и драгоценно это кольцо, некогда принадлежавшее самому Пушкину.

Но Богоявленского задерживают по подозрению в убийстве. И неспроста – ведь у него было намерение похитить перстень. Сможет ли он оправдаться, самостоятельно найти убийцу и заполучить волшебное кольцо, которое передавали друг другу лучшие российские поэты?

Анна и Сергей Литвиновы

Я все скажу

© Литвинова А.В., Литвинов С.В., 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

Наши дни: сентябрь 2021.

Николина Гора, Подмоскowie, Россия

...Когда свет наконец включился, бездыханное тело актера лежало на полу.
Перстня на пальце его не было...

История перстня (версия) – глава первая.

Более двухсот лет назад. Май 1820 года.

Санкт-Петербург, Российская империя

Пушкин сел в самой непринужденной позе.

На душе его скребли кошки.

Хотя Милорадович принял его со всей любезностью. Ласково пожал руку, предложил опуститься в мягкие кресла, сам устроился напротив и, глядя на поэта, сердечно улыбался.

Но все же, все же, все же... Милорадович – военный генерал-губернатор Петербурга. После государя – в столице первое лицо. А противоправительственные, афеистические и возмутительные стихи, написанные юным стихотворцем Пушкиным, стали в последнее время слишком многим известны, широкое хождение приняли среди вольнодумной молодежи – да и не только молодежи!

Шпик недавно приходил на квартиру, где проживал юный пиит, и предлагал Никите, дядьке, пятьдесят рублей – огромные деньги! – за то, чтобы ознакомиться с тетрадями хозяина.

Тучи явно сгущались. И вот – вызов к самому генерал-губернатору, пусть на квартиру, в частном порядке – да все равно могло кончиться плохо. Сибирью, прямо скажем, пахивало.

И еще звоночек: принимал его Милорадович не в частном, партикулярном костюме, а в мундире, да с орденами: красный вензель, желтый погон, зеленый воротник.

Радужная улыбка боевого генерала, храбреца, жуира и бонвиана, хоть и вселяла надежды на благополучный исход дела, могла на деле оказаться обманчивой – кто знает, что на уме у этого красавца-серба, пятидесятилетнего старика, по-прежнему волочащегося, как в юности, за актрисками и балеринами!

С первых слов разговор, однако, складывался для двадцатилетнего стихотворца куда как благоприятно. Как часто случалось среди дворянского сословия, начался он с родства.

– Ну, бог мой! – проговорил храбрец-генерал любимую свою приговорку и оглядел юного Пушкина, словно любуясь им чуть не как собственным родственником, плодом чресл своих. – Вырос-то как, повзрослел! А я ведь, Лександр Сергеич, батюшку вашего, Сергея Львовича, да и дядюшку, Василия Львовича, хорошо знавал. В Измайловском полку с обоими вместе служили-с. До вашего рождения-с, вследствие чего, – повторил он еще одно свое любимое выражение, – не имел удовольствия вас, Лександр Сергеич, тетешкать и нянчить.

Разговор и впрямь получался чуть не родственный, будто дядюшка с любимым племянником, с коим вечность не виделся, вдруг повстречался.

Что на подобные излияния генералу ответишь! Сказать, что и отец с дядей ему, в свою очередь, о нем говорили? Да ведь не сказывали они! Хотя, с другой стороны, кто Милорадовича, любимца Суворова, героя Отечественной войны и одного из победителей Буонапарте, не знает!

Ответствовал Пушкин выдержанно:

– Благодарю, Михаил Андреевич, за то, что помните родственников наших.

Милорадович смерил его взглядом, как бы говоря: эх ты скуп на слова, братец, со мною. Нешто боишься?

– У вас ведь, Александр Сергеич, первая книга из печати выходит? – вдруг любезно осведомился боевой генерал, весь усыпанный наградами: один орден Андрея Первозванного чего стоит.

– Да, довольно скоро. Уже печатается в типографии. Поэма, называется «Руслан и Людмила».

– Я, конечно, чрезвычайно далек от дел издательских да писательских, – продолжил генерал. – Но вот слышал я, что за рубежами нашего Отечества, в Англии, а в особенности в Северо-Американских Соединенных Штатах, литераторы, в видах привлечения внимания к своей новинке, зачастую устраивают вокруг сего предмета или собственной особы какое-либо скандалезное происшествие. Вследствие чего она книга начинает гораздо лучше расходиться.

Разговор принимал странный оборот.

– Надеюсь, моя пьеса будет иметь успех без подобных происшествий.

– О да, не сомневаюсь. Вся молодежь вас читает! И все же нота скандала никому еще из литераторов не мешала... Если б вдруг пошли вокруг вашей персоны различные разговоры... Кривотолки, слухи... К примеру, что пригласил вас генерал-губернатор Санкт-Петербургский, то бишь ваш покорный слуга, да и накричал на вас, к примеру? Разнос устроил? Или знаете еще, что про меня злые языки сказывают: дескать, имеется у меня прямо здесь, в кабинете, тайный люк. И люк этот иногда посредством особенного секретного рычага неожиданно раскрывается, вследствие чего персона, на прием ко мне приглашенная, падает в подвал – но не разбивается, потому как подстелена там, внизу, под люком оным, солома. Однако, когда окажется внизу неугодный мне посетитель, тогда якобы хватает его особый человек, заплечных дел мастер, да всыпает ему горячих!

Пушкин весь побледнел и приподнялся со стула, выпрямился гордо. Внутри все кипело, голос дрожал:

– В таком бы случае... В случае подобных разговоров пришлось бы мне, невзирая на ордена и седины ваши, милостивый государь, вызвать на поединок и вашу особу – и всех прочих, кто о подобном происшествии хоть бы раз заикнулся!

– О, горяч, горяч! – воскликнул, словно любуясь собеседником, Милорадович. – Ну, мой бог! Да вы не кипятитесь бы, Александр Сергеич! Никто на афедрон ваш ни в буквальном смысле, ни в переносном покушаться не будет! Как вы там писали, в стишке-то вашем? Как бишь... Кто-то там жирный свой афедрон подтирает коленкором... А далее вроде так: «Я же грешную дыру не балую детской модой и какой-то жесткой одой, хоть и морщусь, да и тру...»[1 - Неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Ты и я».] Хе-хе-хе...

– Не «какой-то», – вымолвил Александр Сергеевич, свирепо глядя исподлобья. Гнев его не прошел, лишь отчасти схлынул, – не «какой-то» одой, а «Хвостова жесткой одой».

– Хвостова? Ха-ха-ха! Этого сочинителя? Ну, мой бог! Значит, признаете? – воскликнул генерал-губернатор. – Признаете, что вы, Александр Сергеевич, и есть автор сих стишков? Про афедрон?

– Да ведь кто еще, кроме меня, столь легко да остроумно нынче напишет! – сверкнул очами поэт.

– Вот! А я говорил! – Хотя непонятно было, что, кому и когда говорил генерал. – Но ведь иные сплетники утверждают: что сия эпиграмма, названная в списках «Ты и я», в авторстве которой вы сейчас признались, адресована не куда-нибудь, а... – Генерал поднял глаза до того высоко, что они аж закатились за верхние веки, и добавил полнейшим шепотом, еле шелестя губами: – Самому государю. А между тем, – голос его приобрел прежнюю чеканную силу, – особа государя-императора есть священная и неприкосновенная, вследствие чего – есть такое мнение – сочинителя этого и подобных пасквилей следует подвергнуть примерному наказанию, чтоб другим неповадно было.

– Да, пиеса эта моя, – спокойно проговорил Пушкин, – однако только люди, священную особу (как вы изволили выразиться) вовсе не уважающие, способны вообразить, что сей пасквиль к ней адресован. На деле же посвящен он моему другу-стихотворцу, да и все дела.

– Вот как! Ловко! – Непонятно было, что Милорадович имеет в виду: ловко сочинитель написал свою пьесу или отказался от обвинений? – А вот это, скажите, ваше сочинение? – Генерал вытащил из верхнего ящика письменного стола рукописный список. – Где тут, бишь. А, вот, помечено: «...Здесь Барство дикое, без чувства, без закона, Присвоило себе насильственной лозой И труд, и собственность, и время земледельца...»[2 - А. С. Пушкин. «Деревня».] – Оторвался от листка, взглянул орлиным взором, как бы говоря: «Что на это скажешь, приятель?»

– Да, стихи это мои, – с вызовом произнес поэт. Если бы в иные, более поздние времена происходила эта встреча, можно было бы написать, что поглядел он на генерала, словно «партизан на допросе». Но до жестоких допросов, которые еще воспоследуют в сих краях в двадцатом веке, оставалось плюс-минус целое столетие, поэтому уподобление сие сочтем здесь неуместным и развивать не будем. А поэт добавил:

– Мои эти слова. Как и следующие, из той же пьесы: «Здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея!»[3 - А. С. Пушкин. «Деревня».]

Поговаривали, что сам Милорадович, как и неназванный герой обличительной пушкинской «Деревни», будучи человеком холостым, утешается в объятиях дворовых девок. Не говоря уже о Катеньке Телешовой, звезде балета императорских театров, на тридцать лет и три года генерала младше, с коей как раз начинал он в те дни свой роман, оказавшийся впоследствии весьма продолжительным.

Однако напрасно Пушкин попытался смутить градоначальника. Совершенно не принял на свой счет пассаж о юных девах и бесчувственном злодее генерал-губернатор. Или сделал вид, что не принял. Продолжил дуть в свою дуду:

– Коротко говоря, толки о ваших возмутительных стихах дошли до самого государя, и его величество выразили свое ими неудовольствие. – Милорадович выдержал внушительную паузу, во время которой юный поэт изрядно побледнел. Фрондировать, разумеется, можно сколько угодно, но сама идея о том, что первое лицо государства тобой и твоим поведением недоволено, любого храбреца способно оледенить. Слишком хорошо знал Александр, чем заканчивалось монаршее неприятие писаний Радищева или Новикова. Конечно, Пушкин не «Путешествие из Петербурга в Москву» создал и не журналы сатирические, однако его эпиграммы, пьесы да оды по совокупности легко

могли привести в ссылку, а то и в Соловки или даже в крепость.

Милорадович продолжал:

– Вследствие неудовольствия эпиграммами вашими государь поручил мне призвать вас к себе и... – новая пауза: – по-отечески пожурить.

«Пожурить? И только?» – едва не воскликнул облегченно бедный сочинитель.

– Но я имел смелость высказать иное соображение, с которым его величество, вследствие размышления, согласился. Итак, мне было высочайше повелено, что вас, Александр Сергеевич, следует призвать на службу.

– Так ведь я служу! – недоуменно воскликнул бедный сочинитель.

– По коллегии иностранных дел, не правда ли? – со знанием дела спросил Милорадович.

– Да, коллежский секретарь.

– И в то же время вы, невзирая на молодость, один из выдающихся умов империи. Быстрый, ясный, острый, наблюдательный! Ваши стихи и суждения свидетельствуют о том, что вы, Александр Сергеевич, личность самая незаурядная, и карьера, которая перед вами могла бы открыться, без сомнения, способна привести вас на самые высокие позиции в обществе и государстве!

– Боюсь, любезный Михаил Андреевич, служебный карьер, пусть самый блестящий, не влечет меня с такой же силою, как участь литератора, стихотворца.

– Но вот ваш знакомец, друг и тезка Грибоедов Александр Сергеевич – он не только литератор, но и служит нынче при посольстве России в Персии. Вследствие чего не только приносит несомненную пользу Отечеству своему, но и получает бесценный жизненный и человеческий опыт, который окажет, несомненно, влияние на его литературные занятия! А вы, Александр Сергеевич? Неужели не хотели бы послужить Отчизне своей – как мы служили ей на поле брани!

- Да, но сейчас никакой брани нет.

- Это только видимость, дорогой Александр Сергеевич. Брань, как вы говорите, а иными словами, соперничество между великими державами есть всегда. Постоянно между ними идут войны – порой незримые, но от этого не менее важные и кровопролитные... Впрочем, довольно предисловий! Я хочу, от имени государя, предложить вам миссию сколь же тайную, столь и важную, и опасную. О самом этом особом поручении никто не будет знать, кроме вас, меня и государя-императора. Поэтому прошу вас! Вы, разумеется, можете отказаться от предлагаемой вам миссии, но в таком случае я попрошу сохранить мои слова в сугубой тайне.

- Я никому и никогда не давал повода усомниться в крепости моего слова.

- Сразу хочу предварить мой рассказ. Речь пойдет не о презренном шпионстве или предательстве. Но нам, государству и государю, нужен ваш свежий, цепкий взгляд. И ваш острый ум.

- О чем же вы говорите, позвольте осведомиться?

- На наши южные земли проник Враг. Там свила гнездо настоящая Измена. И речь не о масонских ложах и даже не о тайных обществах, которые во множестве благодаря милостивой снисходительности нашего государя стали появляться в державе нашей и в которые, насколько я знаю, и вас тоже успели едва ли не заманить друзья ваши. Бог с ними! Это все детские игры, не угрожающие Престолу и Отечеству. Беда заключается в том, что среди самых высоких чинов наших появился шпион, который информирует заграничных недругов обо всех делах и приготовлениях государства нашего, в том числе тайных, дипломатических и военных. И миссия, которую сам государь, через мое посредство, имеет честь поручить вам, заключается в следующем: вам надобно выявить и разоблачить этого негодяя.

- Разоблачить? Но почему – мне?! Я стихотворец! Поэт! Гуляка праздный!

- Именно поэтому! Вы поэт – значит, у вас, Александр Сергеевич, острый ясный взгляд и быстрый ум. Вы – стихотворец, да еще известный противуправительственными стихами, – значит, никто даже не заподозрит, что миссия по разоблачению иностранного конфидента[4 - В те времена

конфидентами именовали шпионов, действующих в интересах иностранных держав.] лежит на вас, значит, и он, оказавшись в вашем обществе, останется расслаблен и уверен в себе...

- Да смогу ли я?! По адресу ли вы обратились?

- Но у вас, боюсь, не остается особенного выбора. Поручение мое (и государя) будет для вас означать немедленный отъезд из столицы. Но удалиться вам придется в любом случае. Либо в края достаточно отдаленные - в качестве ссылки за ваши противуправительственные стихи. Либо для выполнения тайной миссии. Притом всем вокруг, и друзьям, и даже семье вашей будет объявлено, что вы удаляетесь из Санкт-Петербурга именно вследствие вашего поведения и в целях дальнейшего исправления. Лишь мы с вами и государь-император будем знать, что ваше изгнание связано с выполнением сугубо конфиденциального поручения.

- Куда же мне предстоит отправиться? И что делать?

- Я расскажу вам, что от вас потребуется. Вы же, в свою очередь, будете отчитываться о выполнении вашей миссии только лично передо мной либо перед человеком, кто покажет вам сей перстень.

Генерал достал из потайного ящика небольшое кольцо, золотое, с сердоликом, наподобие масонского, с выгравированными на нем иудейскими письменами.

- Прошу вас хорошенько запомнить его, дорогой мой Александр Сергеич. Только тот, кто вам лично его предъявит где бы то ни было, имеет право требовать вашего отчета в связи с поручением, кое я и государь-император на вас накладываем. А сейчас - вот что вам надлежит сделать...

...Так как более мы не увидим одного из только что представших пред вами собеседников, коротко сообщим - в основном для тех, кто не слишком интересовался в средней школе историей, - как после этого разговора сложится судьба генерала от инфантерии и Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора Милорадовича.

Через пять с половиной лет, во время возмущения 14 декабря 1825 года, которое войдет в историю под названием «восстание декабристов», на Сенатской площади, убеждая солдат присягнуть новому царю Николаю, он получит (от декабриста Каховского) смертельное ранение из пистолета – с близкого расстояния, в спину.

Если же рассматривать судьбу генерала Милорадовича в духе популярной в последнее время альтернативной истории, то нельзя не признать, что воспитательно-вербовочная беседа с молодым поэтом Пушкиным, вполне возможно, явилась для него, генерала лично, – а может, и для всей России – важнейшей развилкой. Ведь если б он юного стихотворца от лица государя-императора не простил, а, напротив, как предлагали многие, отправил в ссылку в Сибирь или хотя бы на Соловки, если б проявил с золотым пером страны необходимую (по мысли иных) суровость, что бы тогда произошло? Вряд ли поэт – летучий, легкий, горячий и очень южный (по происхождению своему и сути) – перенес бы кандалы, а также сибирский или северный климат. Следственно, мы бы потеряли его в юном возрасте и лишились «Евгения Онегина», «Полтавы», «Медного всадника» и прочих произведений, написанных зрелым поэтом. И не вдохновил бы он никакого Лермонтова на писание стихов, и Чайковскому неоткуда было бы черпать сюжеты для своих лучших опер – и, стало быть, история всей русской литературы, да и культуры в целом пошла бы по совсем иному руслу.

И, весьма вероятно, тогда, в 1820 году, общество, потрясенное суровостью, которое проявило правительство по отношению к мальчишке-поэту, поостереглось дальше пестовать и пополнять тайные собрания да масонские ложи, и в роковой день 14 декабря некому стало бы выводить полки на Сенатскую площадь. Весьма вероятно, восстания декабристов не случилось бы вовсе, и никакого Герцена они б не разбудили, и вся история России потекла бы по другому, возможно, более щадящему руслу.

А генерал от инфантерии и петербургский военный генерал-губернатор (с управлением и гражданской частью) Милорадович Михаил Андреевич, живой и, в соответствии с возрастом, здоровый, продолжил бы утешаться в объятиях своей любимой балерины Катеньки Телешовой (на тридцать три года его младше). Возможно, взял бы ее в жены и прожил еще лет тридцать, пережив Николая Первого и застав даже царствование другого Александра, с порядковым номером Второй.

А может, и наоборот. Возможно, потрясенное расправой с молодым Пушкиным, передовое общество восстало бы против порядков в империи с гораздо большим жаром. Декабрьское возмущение увенчалось бы успехом, и царизм пал не в 1917-м, а в 1825 году!

Прошло двести с лишним лет. Наши дни: сентябрь 2021 года.

Пермский край.

Поэт Богоявленский

Получалось, конечно, неплохо – даже прекрасно, можно сказать, – но чего-то не хватало. Ведь что самое основное в любом творчестве – пиитическом, прозаическом, всяком другом: художественном, музыкальном? Гармония и чувство меры.

Да, мера во всем. А в будущем романе ее приходилось только нащупывать.

Ясно, что два столетия назад люди из образованного сословия изъяснялись совсем не так, как нынче. Не говоря о том, что часто они вели между собой беседы по-французски. Но не в вышеописанном случае. Пушкин-то, известно, чирикал на языке Вольтера, Дидро и Наполеона как бог. А вот вояка Милорадович изъяснялся, как мы знаем из воспоминаний, через пень-колоду. Поэтому тогда в Петербурге они явно беседовали по-русски.

Но вот стилизация под язык тех времен – насколько она допустима? Сам Пушкин уже тогда говорил и писал на совершенно сегодняшнем, ясном русском. Но если почитать письма или записки того же Милорадовича или, к примеру, генерала Инзова – бог мой, сколько там тяжеловесных оборотов! Интересно, насколько трудно понятна (или нет?) была устная речь у генерала? Или он шпарил как нынче – разве что современных словечек не вставлял?

И, конечно, для текста не хватало одушевления, вдохновения, полета.

Этот эпизод он, помнится, набросал году в седьмом-восьмом. Потом и его, и еще два-три отрывка на ту же тему у него выпросил, за хороший гонорар,

иллюстрированный журнал «Аристократ». И теперь чувствовалось: пришла пора соединить все куски и обратить их в полновесный, яркий роман.

Годы, конечно, сказывались. Недаром солнце нашей поэзии говаривал: «Лета к суровой прозе клонят».[5 - А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».] Совсем нечасто в последнее время случалось: кто-то сверху, словно сам Господь, диктует ему слова и фразы, только успевай записывать!

О, как это прекрасно было вначале, когда стихи свободно лились – порой ночь напролет, в родительской малогабаритке в Люберцах, когда он отвоевал для себя единолично отдельную запроходную комнату, расположенную за так называемым «залом», где посапывал брательник. А он у себя на диване, запершись на замок, марал и марал тетради, потом распахивал окно и жадно курил, вдыхая морозный воздух пополам с дымом сигарет «Кэмел». Как раз когда он начинал курить, появились, после московской Олимпиады, первые импортные сигареты, и он готов был последние полтора рубля, предназначенные на обед, отдать за буржуинский табак и ходить голодным, но гордо вытаскивать из кармана пачку с верблюдиком на этикетке. Теперь таких уже не делают, да и курить он давно бросил, а вот чувство полета и сигарета, как награда за ночной вдохновенный труд, – помнятся.

Тогда ведь даже не было такой проблемы, как сейчас: вызвать вдохновение. Оно снисходило к нему само по себе, слетало послушной Музой. Вернее, когда оно слетало, он бросался писать, а вот понукать себя, заставлять, подстегивать – не приходилось. Не счесть стихов и заметок, записанных им внутри разорванной мягкой сигаретной пачки или на салфетках из редакционных столовок – тогда, во времена советской нехватки всего и вся, губы порой утирали аккуратно нарезанными срывами от типографской бумаги. Сколько раз спохватывался, что забыл блокнот, и, порой, только ключевые слова стихотворения записывал на внутренней стороне собственного предплечья – а сколько безнадежно забывал!

Теперь записная книжка всегда с собой – в виде функции «Заметки» в телефоне, можно даже не писать, а надиктовывать стихи или мысли... Да вот беда: нынче редко, особенно в сравнении со своей же юностью, припирает эта нужда – все брось и давай, строчи! Записывай, что тебе высшие силы откуда-то сверху, из своих сияющих пределов диктуют.

Сейчас наоборот: чтобы привести себя в рабочее состояние, нужно долго сидеть и бездумно скроллить социальные сети, шерстить интернет по заданной

тематике или свои собственные предыдущие попытки перечитывать. И тогда – может, да, а может, и нет – затлеет что-то, задымится, как печка, которую разжигаешь в промерзшей, заледенелой бане, когда холодный воздух в дымоходе сопротивляется морозным столбом всем твоим жалким попыткам раскочегарить охладившуюся за недели печь.

Но потом – все равно приходило, все равно обрушивалось! Оно – вдохновение, радость от работы, точность слова. И все искупало.

В сей момент-то ему возбуждать себя, приводить в рабочее состояние без надобности. Он читал свой собственный текст на планшете разве что затем, чтобы отгородиться от прочих седоков микроавтобуса, не принимать участия в общем разговоре, и еще позлить видом планшета ценой почти в сто тысяч, который вряд ли кто-то из его коллег мог себе позволить. Впрочем, Виолетта Капустина, наверное, могла – та писала дамские романы, расхвалившиеся большими тиражами. Болезненно полная, она одна занимала целых два места в «Форде-Транзите», а сопровождавшая ее всюду девочка, то ли литературный секретарь, то ли агент, то ли редактор, подавала ей, когда та выходила из микроавтобуса, сразу обе руки, на которые дама опиралась всем своим полуторацентнеровым весом.

– Не тяжело? Эдак у вас ведь и руки отвалятся, – вполголоса насмешливо спросил девочку Богоявленский после одного такого десантирования.

Она в ответ только фыркнула и ожгла его взглядом – не только от хамоватой его реплики, а вообще от того, что нет, не оправдал Богоявленский возложенных на него ожиданий: импозантный поэт никак ее не выделил и никакого внимания на нее (единственную, честно говоря, достойную кандидатуру для ухаживания) не обратил.

Богоявленский своих коллег по цеху не любил. Потому что все они были такими же, как он: надменные особи с непомерно раздутым эго. Только при том (как искренне считал поэт) и писать-то толком не умели. Даром кичились и место занимали.

В делегацию входил странный и бледный детский автор (никогда не слышал имени!) и критикесса с тяжелой челюстью и мужицкими повадками: она говорила басом, ходила в широких штанах и ступала широким шагом. Ей для

выступления предоставили самую маленькую аудиторию, и пришли к ней на лекцию человек десять. Теперь она бесилась и бросала гневные косяки на Богоявленского, который собрал полный зал. К писательнице Виолетте Капустиной тоже набилось изрядно, но меньше, да и несла она слезливую мелодраматическую чушь, перескакивая с пятого на десятое. К детскому писателю согнали школьников, и только он, поэт, имел большой и заслуженный успех. Правда, читал из старого, еще три десятилетия назад написанного, а два стихотворения последних лет, которые он включил в программу в качестве эксперимента, зал встретил недоуменным молчанием и жидким аплодисментом.

Богоявленский всегда откликался на предложения встретиться с читателями, даже в другой город съездить. Сначала, в тучные нулевые, ему предоставляли полет бизнес-классом и гостиницу пять звезд и возили всюду на «мерсе». Сейчас снизили планку – но он все равно соглашался. Все-таки попадаешь на люди, и можно встряхнуться, погарцевать, покрасоваться. Даже замутить с какой-нибудь провинциальной поклонницей, которая шалела, вдруг понимая, что он – звезда, москвич, поэт, небожитель – проявляет к ней недвусмысленный мужской интерес. Но в этот раз и поклонницы были немолодые и страшненькие, и дамы из делегации никуда не годились, да и желания особого не охватывало. Вяло выступил, дежурно пошутил, раздал автографы. В киоске в вестибюле сказали, что продали тридцать пять его книг. Опять-таки кормили, поили коньяком, возили на экскурсии: домны, прокатный стан, дом-музей советского классика. Обещали десять тысяч заплатить переводом на счет индивидуального предпринимателя.

Да и впечатления, полученные от поездки, конечно, никто не отменял. Перед выступлением он прошелся по городку: бараки, пятиэтажки, «Пятерочки», «Магниты», новый, с иголочки, собор и тщательно отреставрированный огромный ДК советских времен. На площади перед гостиницей прямо с перевернутых ящиков торговали мясом. Когда он вызывал местное такси, диспетчер спросила, подойдет ли ему «десятка» или он претендует на элитный «Ларгус».

...Микроавтобус свернул на окружную дорогу. Чувствовалось преддверие областного центра. Справа вдали потянулись окраины города, уставленные девятиэтажками. А вот и аэропорт.

Богоявленский первым выскочил из автобусика, не став дожидаться, когда ассистентка начнет выгружать огромную тушу Виолетты Капустиной. Подхватив

у шофера свою сумку, он почти вбежал в здание аэровокзала. У него был свой план.

Сориентировался, подошел к транспортерам, где уже начали принимать багаж на их рейс. У стойки, где регистрировался «бизнес», никого не было. Он подошел, протянул паспорт.

– Могу я повысить класс своего обслуживания? – спросил. – До бизнеса, если можно.

Молодой человек в форме авиакомпании взял паспорт, нахмурился. Был он болезненно толст. «Надо же, еще один! Познакомить бы их с авторшей дамских романов – вот вышла бы парочка!»

– Да, можно. У вас наличные?

– Хотелось бы картой.

Молодой человек снова насупился. Наконец он пробормотал:

– А вам документ о повышении класса нужен?

– Нет, мне его никто не оплатит, если вы об этом.

– Тогда налом выйдет дешевле, – без обиняков пояснил обжора. – Если картой, четырнадцать тысяч. Налом – одиннадцать. Банкомат есть на втором этаже.

– Хорошо, я заплачу налом.

«Самая настоящая коррупция в действии. Интересно, как они поделят потом с бригадой бортпроводников мои денежки?»

Он побежал к банкомату. По большому счету с деньгами, как всегда, напряженка. И лететь до Москвы – всего часа три. А заработал он за поездку только десять. Но все равно: очень уж хотелось выделиться из ряда своих как бы коллег.

Он вытащил из банкомата три красных билета. «Еще и банкомат недружественный, комиссия придет за обналичку заоблачная, вот на кой черт так шиковать, да с кредитными деньгами!» И все равно: мог себя ругать сколько угодно, но остановиться был уже не в состоянии. Вернулся, запыхавшись, к стойке бизнес-класса. С огромным удовлетворением отметил, как кучкующиеся в общей очереди четверо: сентиментальная дама-гора с конфиденткой, критикесса и детский писатель – ревниво заметили его манипуляции у элитной стойки.

В обмен на одиннадцать тысяч толстяк выдал посадочный талон: место два Б – и впрямь бизнес. Кресла на самом первом ряду обычно придерживали до самого конца регистрации, в рассуждении: вдруг какому-то местному бонзе понадобится срочно отбыть в столицу.

«Бизнес» в «аэробусе» оказался совсем маленький и полупустой. А еще, дополнительная сладость, обычных пассажиров стали запускать через переднюю дверь, и, значит, все они проходили мимо развалившегося в кожаном кресле Богоявленского. Почти все незнакомые ему дотоле пассажиры, особенно мужики, источали по отношению к нему классовую ненависть, бросали завистливые и ревнивые косяки – хотя многие проходили с такими сумками и в такой обуви, что запросто могли себе позволить не то что бизнес-класс, но и частным самолетом полететь. А вот пожмотились, скупердяи! Ну и душитесь в своем экономе!

Но особенно приятны оказались проходы спутников из писательской делегации. Жабообразную толстуху едва кондрашка нехватила, когда она его увидела. Вся аж покраснела, глаза из орбит вылезли.

Критикесса тоже в лице переменялась, вскинула свою лошадиную головенку, фыркнула и прошествовала мимо.

А стюардесса уже присела рядом с ним на корточки: вот за что ему еще нравилось летать по первому классу – ни в одном, даже самом дорогом ресторане тебя столь предупредительно не обслужат. «Меня зовут Александра, и пока мы не взлетели, – улыбнулась ему одному бортпроводница, демонстрируя и прекрасные круглые колени, и декольте, – я могу предложить вам игристое. А как только наберем высоту и начнем обслуживание, вы можете выбрать по меню ваши предпочтения по поводу обеда».

Когда-то Богоявленский очень короткое время, но встречался со стюардессой. Она рассказывала ему, что у них задача: «бизнес» как можно скорее напоить, чтобы они все спокойно отрубались в своих удобнейших креслах и больше не докучали.

А самолет рулил на полосу. За окном подмигивали аэропортовские огоньки. От шампанского в крови восхитительно заиграли пузырьки. А еще – от того, как он изящно обштопал коллег. Никаких денег за это не жалко.

Бортпроводница забрала у него пустой бокал, а сразу, как только взлетели, вновь принесла его полным. Интимно склонилась, спросила: «Что вы выбрали на обед?»

Богоявленский оценил диспозицию: девушка совсем не молода, около сорока. Наверняка разведенка, скорее всего, с ребеночком.

Когда-то он работал и близко дружил с режиссером Александром Борисовичем Славичем. Тот, большой охотник до дамского пола, цинично говаривал: «Запомни, Богоявленский, после пятидесяти бесплатным сексом ты сможешь заниматься только с ровесницами». Наверное, Славич знал, что говорил, ведь ему в ту пору было уже за пятьдесят, а Богоявленскому – всего тридцать с хвостиком. (Ах, золотые деньки!)

Теперь ему самому – пятьдесят два. Значит, пророчество Славича начинает сбываться? Теперь ему за секс придется платить? Или всего два года после полтинника не считаются, и та же Сашенька-стюардесса полюбит его (учитывая ее сороковник и его пребывание в креслах для альфа-самцов) бесплатно? Он решил для себя, что успех вероятен – только вот кобелировать перед ней совершенно не хотелось. Утомился от долгой и тряской дороги – два с половиной часа пилили по не самым прекрасным трассам из металлургического поселка плюс неослабевающие думы о собственной работе. И больше хотелось посидеть покойно, тихо, попивая шампусик в удобном кресле, а не распушать перья перед случайной вертихвосткой.

Да, перстень, волшебный перстень! Когда он впервые услышал о нем, ему было лет четырнадцать, они ехали с отцом, матерью и сосунком-братом на собственных «Жигулях» к морю... Точнее, не «лет четырнадцать», а именно что ровно ему исполнилось. Окончен восьмой класс, сданы экзамены, и они

отправляются не просто на море, а в Большое советское Путешествие, по сложному и солнечному маршруту: Москва – Киев – Одесса – Крым. Потом на пароме перебираются на Черноморское побережье Кавказа, затем от Новороссийска до Батуми, а потом через Грузию и Военно-Грузинскую дорогу – назад домой, в столицу мира и социализма. Чуть не последний нормальный советский год, в Кремле потихоньку умирает Черненко, и никто даже представить себе не может, что через каких-то семь-восемь лет эта Большая Советская Мечта разлетится в прах и пепел!

А пока они несутся по Симферопольскому шоссе, в «Жигулях» тринадцатой модели. Он выпросил у матери позволения сидеть впереди, рядом с отцом, на месте, как мама говорила, «генеральши». И никто не пристегнут, тогда и ремней безопасности, кажется, еще не было, а радио вещает программу из Москвы. Да, приемник в той «копейке» уже был, но ФМ-диапазона еще не существовало, ловились только средние и длинные волны, а это означало, что слушать можно лишь первую программу Всесоюзного радио да «Маяк»: всем осточертевшие вести с полей или происки империалистов.

Отец, не отрываясь от руля, крутит ручку приемника, как будто хочет найти что-то, кроме волн из Москвы, какой-нибудь «Голос Америки» или Би-би-си. Но – нет, все та же Первая программа. Обрывок объявления: «...турные чтения». И глубокий бархатный голос:

– Там волшебница, ласкаясь, мне вручила талисман...[6 - А. С. Пушкин. «Талисман».]

Пушкин (узнает Богоявленский позже, из мемуаров и исследований) умел наводить тень на плетень, и совсем никакая не красавица (как явно намекал он на Элен Воронцову или Амалию Ризнич) дарила поэту пресловутый перстень. И совершенно не залогом любви он был, а символом иного братства...

Стихи юный Богоявленский не то чтобы тогда уже любил – жил ими, дышал. Он писал их, и целую коленкоровую тетрадку, перебеленную начисто угловатым, не устоявшимся почерком, он, в безумной идее, послал по почте, раздобывши адрес, поэту Вознесенскому – вдохновленный мемуарами, как тот некогда отправил свою тетрадь в четырнадцатилетнем возрасте Пастернаку. Помнится, те мемуары Андрея Андреевича начинались эффектной фразой: «Тебя Пастернак к телефону!»[7 - А. А. Вознесенский. «Мне четырнадцать лет».]

Когда юный Богоявленский выезжал с родителями на юг, никакого отзыва на его посылку не было, хотя прошел уже месяц со времени отправления, и от этого все его стихи стали казаться глупыми, напыщенными, корявыми. «Если так и не ответит, – думал он, – не буду больше писать – никогда, ничего! Или даже лучше: приедем в Крым, и брошусь с обрыва в море! Если я в смысле стихов ничтожество, то зачем вообще тогда жить? Корпеть, пресмыкаться? Шаг с обрыва, мгновенная боль, и все! Родичи, вон, пусть Валюном своим утешаются, все равно они этого недоноска больше любят!»

Недоносок Валюн спал, разморенный, на заднем сиденье, положив голову на колени мамы, которая тоже дремала, и голова ее поматывалась. Мамочка сама порой вздрагивала, дергалась и засыпала снова – отец настаивал, чтобы выехали по утранке, по холодку, поэтому вставали в пять, с птицами, но прокопались и стартовали только в семь. А по радио разливался советской чтец Дмитрий Журавлев глубоким и как бы задушевым голосом:

– От недуга, от могилы,

В бурю, грозный ураган,

Головы твоей, мой милый,

Не спасет мой талисман![8 - А. С. Пушкин. «Талисман».]

А потом: «Вы слушали литературные чтения, передаем концерт по заявкам!»

Обедали в лесополосе, где-то в Калужской области. Мамочка накрыла на походном одеяле: термосы, жареная курица, бутерброды – тогда всюду ездили с сумкой-холодильником, полной столичных продуктов, надежи на провинциальные магазины и тем более кафе было мало.

Про запас у отца в багажнике стояли ровными рядами четыре канистры с бензином, распространяя на всю машину сладковатый аромат: кто знает, вдруг по пути следования возникнут перебои с горючкой? От советского быта всего можно ожидать.

После обеда отец, вдохновленный предстоящим отпуском, даже позволил четырнадцатилетке самому вести автомобиль. Сидел рядом, словно бы отстраненный, но напряженный, и иногда подсказывал старшему сыну, какую

передачу включать. Валюн на заднем сиденье умирал от зависти и временами, когда Юрий бросал сцепление и «копейка» дергалась, отпускал ехидные замечания – а мама его одергивала.

– Что ты, Юрка, тащишься, как похоронные дроги!

– Валя, прекрати, ты же мешаешь брату!

В Киев прибыли уже затемно. Остановились на левом берегу Днепра в гостинице «Братислава», казавшейся тогда очень современной и современной. Вписаться в отель обычному путешественнику в советские времена было непросто, поэтому отец готовился к поездке несколько месяцев, планируя, кто из друзей или родственников сможет по пути следования помочь с жильем. В Киеве их опекала «тетя» Наташа, которая была никакая не тетя, а однокурсница отца, распределенная в столицу советской Украины и сделавшая здесь недюжинную карьеру, но не по специальности, а по комсомольско-партийной линии. Мама, кажется, отца к веселой и певучей «тете Наташе» с выдающимся бюстом ревновала, но что она могла поделать, если та обеспечивала им и жилье, и культурную программу. Отец, человек широкий и хлебосольный, умел дружить, всюду у него обнаруживались то товарищи по работе, то однокурсники, то бывшие сослуживцы.

На следующий день «тетя Наташа», взяв отгул, катала семью на катере по Днепру, прогуливая по Андреевскому спуску. Они обедали в ресторане, закрытом для обычных посетителей, ели борщ с пампушками. Взрослые пили горилку, а после, изрядно накирвавшись, отец с Наташей дуэтом выводили украинскую песню:

Ой, Марічко, чичері, чичері-чичері,

Розчеши мня кучері, кучері-кучері.[9 - Украинская народная песня.]

Потом, когда прошли десятилетия, случился четырнадцатый год и «Крым наш», отец удивленно спрашивал Богоявленского: «Что это Наташа на мои звонки и письма не отвечает?»

– А ты сам подумай, пап...

Но весь тот день в июне восемьдесят четвертого для юного Богоявленского оказался окрашен в самые радужные цвета. Ему хотелось радоваться и обнимать весь мир. А все потому, что вечером в день приезда, когда они, пыльные и оглушенные дорогой, ввалились в двухкомнатный люкс «готеля» «Братислава», мама сразу принялась звонить домой, бабушке. У них существовала договоренность телефонировать или телеграфировать из каждого пункта их путешествия – до эпохи мобил и тотальной связи оставалось еще двадцать лет. Так вот, когда телефонистка короткими звонками в гостиничном номере дала знать – Москва на проводе, мамочка чуть более усталым, чем взаправду, голосом рассказала бабушке, что все в порядке и они устроились в Киеве. Потом спросила:

– Что нового у нас, кто звонил, не было ли писем?

Бабушку интригами и лестью заманили к ним в квартиру в Люберцы – пожить, пока они путешествуют, последить за жильем, поливать цветы, а главное, ухаживать за престарелой кошкой Масенькой.

– Никто вам не звонил, пришла газета «Правда» и письмо – но Юре.

– Письмо Юре? – механически повторила мама, а Богоявленский уже вырывал у нее трубку: «Дай, дай мне!» – и лихорадочно стал выпрашивать у бабушки:

– Письмо? Мне? От кого?

– Юрочка, обратного адреса нет, просто подпись от руки чья-то.

– Ба, открой, пожалуйста, немедленно! – закричал в возбуждении Богоявленский, – И читай, читай вслух!

– Погоди, я возьму очки.

– Ох, еще эти очки!

– Сейчас, Юрочка, читаю.

На том конце провода – томительный треск разрываемого конверта, а потом голос бабушки, зачитывающий с выражением школьной учительницы – к концу он возвысился от гордости за внука:

– «Дорогой Юрий, я прочитал ваши стихи. И хотя в них есть еще много молодого, чрезмерно задорного и потому несовершенного, некоторые ваши вещи показались мне замечательными, а иные даже восхитительными. Прямо завтра я уезжаю на месяц за границу, а потом напишите или позвоните мне, буду ждать вас в гости, поболтаем». И тут номер телефона.

– Бабушка, бабушка, спасибо! – заорал тогда юный Богоявленский, сунул трубку напряженно караулившей рядом матери и заорал, запрыгал по номеру в гостинице «Братислава», будто забил решающий гол в кубке киевскому «Динамо».

– Чего Юрка бесится? – презрительно оттопырил нижнюю губу Валюн.

– Его стихи похвалили, – пояснил проинтуичивший фишку отец.

И хоть теперь, спустя тридцать с лишним лет, Богоявленский знал: кто только не слал в ту пору своих стихов Вознесенскому, кого тот только не хвалил. Он вообще был весьма щедр на комплименты молодым, и предисловия им писал, и одобрительные стихи – и Б.Г., и Нине Искренко, – а все равно ведь до сих пор было приятно.

Жаль только, что карьера Богоявленского, как молодого поэта, хоть и начиналась столь впечатляюще, а пролетела быстро, завершившись меньше чем через десятилетие – ввиду естественных причин, вместе со страной.

А тогда судьба сулила юному Юре самые выгодные преференции: в семнадцать лет – первая публикация в «Юности», в восемнадцать – большая подборка в «Новом мире», в одном номере с солженицынским «ГУЛАГом». В девятнадцать – первая книга, сборник в «Молодой гвардии». И все это время, золотое свое десятилетие, он выступал, читал и в домах культуры, и на стадионах, а между делом учился на журфаке: денег – море разлитое, поклонницы, юная жена-поэтесса, рестораны, бега... Кончилось тем, что в девяносто втором он вместе со страной уперся в стену: Союза больше нет, стихи никому не нужны, жена изменяет, жизнь кончена.

Эти воспоминания пролетели в голове Богоявленского золотистым роем, во время второго и третьего бокала шампанского, пока самолет набирал высоту, а стюардесса раскладывала на его столике яства.

Блюда в бизнес-классах обычно подавали роскошные, на уровне лучших ресторанов, и приборы не голимый пластик, а настоящая сталь, и фарфоровые тарелки: сыры с медом, затейливый салат, парная рыба. Ах, как он правильно сделал, что доплатил за бизнес! Конечно, денег нет и не предвидится, но лучше он будет растрачивать кредит – однако пить, подобно горьковскому соколу, живую кровь, а не питаться падалью.

Советский Союз вообще много обещал Богоявленскому – и так бесславно распался! В СССР слишком многие прозябали, перебиваясь от зарплаты до зарплаты, выстаивая очереди за мясными костями. Хорошо в нем жилось только узкой прослойке: элите. Эти люди могли зайти в ресторан, когда хотели (а не когда имелись места), заселиться в любую гостиницу, купить (почти) любую книгу и посмотреть (почти) любой фильм. Они путешествовали через «депутатские залы» на вокзалах и в аэропортах, обедали в закрытых столовых и получали особенные продуктовые наборы. А входили в эту прослойку партийные деятели, депутаты, физики-ракетчики-оборонщики, начиная с доктора наук и выше, да врачи от бога. Была и другая группа сильных мира сего, всеми дружно презираемая: товароведы, официанты, автослесари. У них тоже не было по жизни никаких проблем, за исключением одной – с репутацией.

И, наконец, имелись те, кто получал вообще все: и славу, и деньги, и блага, и любовь народа. Деятели литературы и искусства (как их называли): артисты, телевизионные дикторы, композиторы. И, да, литература не случайно в том советском меме про «деятелей» шла на первом месте. Возглавляли ее «письменники», которые лабали ежегодно кирпич за кирпичом, издавались чуть не миллионными тиражами: Иванов, Сартаков, Марков. А еще – поэты, умело балансировавшие на грани дозволенного, переводимые на Западе и державшие кукиши в кармане. И вот, подумать только! Богоявленский беззаконной кометой легко ворвался в их число, но тут же, не прошло и десятилетия, крах-тибидох, – все кончилось, и пришлось на развалинах страны искать другие поприща.

Как всегда бывало во время работы, мысли об основном предмете никогда до конца не затмевались внешними соображениями или идеями, не затуманивались

никаким шампанским, сколько бы он его ни выпил. Вот и сейчас волшебный перстень неотступно волновал воображение Богоявленского. Мелькнуло: если бы последний известный ему носитель кольца немного повременил со своим уходом в мир иной, протянул еще хотя бы десяток лет – он ведь мог вручить его Богоявленскому на самых законных, что называется, основаниях! Подумать только, уже в девяностом он числился самым что ни на есть ярким советским поэтом.

Но то-то и оно. СССР разлетелся на кусочки, и вместе с ним рухнула неписаная, никому не ведомая, но – система, по которой перстень передавался из рук в руки.

А теперь и вовсе – ищи-свищи...

Бортпроводница спросила, можно ли убрать еду. Он кивнул, оставив только тарелку с сырами. А игристое она уже подливала без спроса – какой там по счету бокал: пятый, шестой? Да ведь и льет до краев!

Голова ласково затуманилась, от вкусной еды и искристых пузырьков по телу разливалась приятная тяжесть.

И тут пришло в голову странное: а что, если тот перстень вовсе и не награда? Не первый переходящий приз?

Может, совсем наоборот, в нем самом заключена волшебная сила? И это он придает его носителю удачу и вдохновение?

Мысль была новой, неожиданной, и он даже потянулся ее записать – в те самые пресловутые «заметки» на телефоне. Кто знает, может, он завтра проспится и напрочь ее, эту идею, забудет? Хотя вряд ли. Мысль была богатой, роскошной: печатка и впрямь волшебная, она придает обладателю вдохновение и счастье.

Но тогда – еще сильнее нужно его желать! Больше усилий прикладывать, чтобы отыскать кольцо!

Чтобы немного охладить излишне разгорячившуюся голову, он взял из кармана переднего сиденья иллюстрированный журнал. Журналы вообще в последнее

время совершенно скукожились и куда-то пропали – а ведь в начале нулевых он много с ними сотрудничал: мужские «Максим» и «Плейбой», женский «Космополитен», пижонский «Аристократ». Теперь только и остались эти бесплатные издания, разложенные в самолетах. Богоявленский стал бездумно перелистывать: заморские страны, моды, гороскоп, реклама, реклама... И вдруг – в фоторепортаже, явно заказном, о презентации какой-то новой коллекции чего-то там взгляд остановился на фото. Неизвестный ему актер, статный красавец в дымчатых очках, под руку с блондинкой позирует на фоне билборда с фирмами-спонсорами – ничего, казалось, особенного, подобных фотографий в номере – целый пучок, но... НО: актер держит руки скрещенными на груди, и на указательном пальце его левой руки Богоявленскому вдруг почудился он... Поэт придвинул фотографию к самым глазам, затем выхватил из кармана телефон, включил функцию «лупа». Сомнений быть не могло: это он, тот самый волшебный перстень, за которым Богоявленский так долго и бесплодно охотился.

Он посмотрел подпись под фотографией: «На премьеру пожаловал актер Андрей Грузинцев с супругой Владой» – и все.

Воровато оглянувшись – хотя никто, конечно, ему бы слова не сказал, – поэт рванул из журнала страницу, свернул ее вчетверо и спрятал в карман пиджака.

Воистину, если ты за чем-то всерьез охотишься и прилагаешь все силы для того, чтобы найти, однажды, в совершенно неожиданном месте и в небывалое время удача сама постучит в твои двери.

История перстня – глава вторая.

Прошло три года со времени первого явления кольца.

Почти двести лет назад: февраль 1823 года.

Российская империя, город Кишинев

«Если ты и в самом деле чего-то ждешь и за чем-то охотишься, то, порой, сама судьба выбрасывает в своем фараоне именно эту счастливую карту».

Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых...[10 - А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».]

Первая глава «Онегина» еще не была начата, но эти строчки уже странным образом жили в нем. Никто не знал пока, что когда-нибудь они разойдутся на цитаты.

А он летел, пусть и в пыли, но не на почтовых. Они скакали на своих – и потому, что путь предстоял недолгий, и потому, что на окраине империи ямские станции еще не получили столь широкого развития, как в центре ее.

Да и «повесой» Пушкина именовать было трудно. Несмотря на свои юные лета, всего двадцать три, он уже на всю Россию известный поэт. Молодежь переписывает в десятках списков его стихотворения, ноэли и оды. Вторая поэма, «Кавказский пленник», как и первая, про Людмилу и Руслана, уже прогремела в столице. На нее даже балет, как сообщали ему, Дидло успел поставить – с Истоминой в главной роли.

А официально Пушкин – коллежский секретарь с окладом семьсот рублей в год и проживает в доме черноморского наместника генерала Инзова, пользуется его гостеприимством и широчайшим доверием.

И еще – но об этом никто, кроме него самого и двух людей, занимающих наивысшие посты в империи, не ведает – он исполняет сугубо секретное поручение «полного» генерала, то есть генерала от инфантерии Милорадовича.

Для чего он согласился на предложение губернатора Петербурга? Из боязни каторги, ссылки, монастыря? Да, обидно в цвете лет оканчивать свои дни в кандалах. Но никто и никогда не смог бы обвинить Пушкина в трусости – трусом он не был. Всегда гордо и смело гарцевал навстречу любым опасностям. А поручение генерала принял на себя оттого, что в нем содержался своего рода вызов. Вдобавок то была еще одна возможность глянуть прямо в лицо опасности.

За те три года, что прошли с момента отъезда его из столицы, он многое увидел: Екатеринослав, кубанские степи, горы Кавказа, Тамань, море, Крым. И вот теперь – Кишинев. С очень многими людьми повстречался он за то время: офицерами, казаками, докторами на водах, черкесами, татарами, цыганами,

жидами, румынскими боярами, лавочниками, рестораторами... Но вот только сейчас появилось у него первое подозрение: кто он, тот самый конфидент иностранной державы, вынюхивающий, выискивающий тайны империи. Сейчас они ехали бок о бок с ним в одной коляске. Пушкин изо всех сил подавлял желание схватить своего спутника, как собаку, за горло и гневно бросить ему в лицо обвинения.

Он видел титулярного советника Арбенева всего второй раз. Но и на Кавказе, когда они с генералом Раевским объезжали войска и встречались с Ермоловым, Арбенев зачем-то оказался рядом с ними. Очень интересовался боевым порядком российских войск. И зарисовывал (Пушкин сам видел) флеш и укрепления. Присматривался к вооружению казаков и солдат. И вот теперь он прибыл в Кишинев к Инзову, выпросил у него поездку по крепостям и укреплениям. И в этой поездке тоже: записывал, зарисовывал, всем интересовался, выпрашивал.

Но как доказать, что Арбенев – презренный шпион? Россия ведь не Турция и не Татария, чтобы без достаточных улик бросить подозреваемого в темницу. Мы – цивилизованное государство, и одних подозрений, пусть даже самых обоснованных, не довольно, чтобы обвинить несчастного. Значит, надо быть с ним рядом, ждать, чтобы Арбенев себя выдал. Недаром же Инзов направил Пушкина сопровождать того в поездке – значит, и генерал тоже питает подозрения по части титулярного советника?

Они возвратились в Кишинев.

Пушкин жил в доме Инзова, у него и столовался. Здесь же, по любезному приглашению генерала, остановился и Арбенев.

В прихожей, ввиду их прибытия, случилась суэта; лакей объявил, что генерал просит их обоих пожаловать на ужин.

– У генерала еще гости? – отрывисто спросил Пушкин.

– Да-с! Полковник Рославлев из Петербурга, оне тоже остановились в доме генерала.

Сухо кивнув друг другу, они с Арбеневым разошлись по своим комнатам.

– Никита, подай умыться, – приказал Пушкин своему человеку и, когда вода явилась, стал смывать с себя дорожную пыль и грязь.

Спустя четверть часа он, переменяя платье, входил в гостиную Инзова. Арбенин уже оказался там. Он любезно разговаривал с новым лицом – очевидно, тем самым прибывшим из Петербурга полковником.

Хозяин дома представил их друг другу, не жалея красок, чтобы с лучшей стороны охарактеризовать Пушкина: великий и блестящий стихотворец наш и пр. Полковника звали Павлом Петровичем Рославлевым. Поэт поклонился ему и сразу заметил: на мизинце левой руки петербургского гостя блещет золотом перстень с иудейскими письменами – тот самый, что показывал ему три года назад в своем кабинете генерал Милорадович. Полковник понял, что Пушкин узрел сей тайный знак и коротко, но со значением кивнул ему.

Лакей провозгласил, что кушать подано, и общество перешло в столовую. После отменного обеда, прошедшего в непринужденности, мужчины отправились в гостиную, чтобы выкурить по трубке.

Разговор касался до всего слегка. Греческое восстание занимало тогда общество, и немало слов было сказано о возмущении православных братьев против неверных. Инзов посетовал на большое число беженцев из Туретчины, к нуждам коих он, в роли наместника, относился со всем вниманием. «Как немецкие колонисты немало послужили к славе России, так и другие пришлецы, болгары с румынами, могут принести много пользы империи», – проговорил он.

Пушкин был рассеян. Мысль о возможном шпионстве Арбенина не оставляла его. К тому же знак в виде перстня, который подал ему прибывший полковник, очевидно, означал, что им необходимо побеседовать тет-а-тет.

– Господа, а не составить ли нам партию на биллиарде? – вдруг предложил полковник. Пушкин понял: это уловка ради того, чтобы остаться с ним наедине и обсудить касающиеся до них вопросы.

– Поедемте к Отону, – подхватил он (Отоним звался лучший ресторатор Кишинева).

Инзов сразу отказался, сославшись в шутку, что в его преклонные лета время после сытного обеда полагается проводить в объятиях Морфея. Однако Арбенин неожиданно поддержал предложение полковника.

Пришлось ехать втроем.

Велели закладывать, а когда рассаживались по коляскам, Пушкин, улучив минуту, шепнул полковнику:

– Вероятно, нам с вами надо поговорить наедине?

– Конечно. Но после. – Тот кивнул в сторону Арбенина, из чего поэт понял, что полковник также, из известных одному ему соображений, подозревает титулярного советника.

Поскакали в ресторацию. Арбенин велел подать жженки и, когда она явилась, буквально заставил Пушкина и полковника пить вместе с ним круговую.

Пушкин и полковник составили партию в бильярд. Арбенин, после выпитой жженки, вдруг опьянел – да и шампанское за столом у Инзова произвело на него известное действие. Он облакачивался на бильярдный стол и в упор, наклонившись, смотрел на бьющего, очевидно мешая ему. Полковник со всею вежливостью попросил его не мешать, однако Арбенин не унимался. В какой-то момент, схватив со стола шар, отлетевший после не совсем удачного удара Рославлева, он, пьяным голосом, провозгласил:

– Да как вы бьете! Вот как бить следует! – и рукою запустил шар по зеленому сукну. Шар ударил другие, отскочил и упал в лузу. Ясно, что игра смешалась и была испорчена. Полковник, вне себя от гнева, подошел к Арбенину вплотную и проговорил дрожащим от злобы голосом:

– Милостивый государь! Я, кажется, просил вас не мешать нашей игре!..

– Не мешать? А не то – что? – с глумливым вызовом ответил Арбенин.

– А не то я прибью вас! – выпалил полковник.

– «Прибью»? Вы сказали «прибью»? Да как вы смеете?! Я русский дворянин!

– Что ж, коль вы дворянин, вы всегда можете потребовать у меня удовлетворения. А я – я могу вам его дать.

– Хорошо же: я вас вызываю! – В последних словах и в самом виде Арбенева не было никакого намека, что тот находился во хмелю, как могло показаться еще минутой раньше.

Вечером полковник сошлись с Пушкиным в его комнате.

– Секундант его только что был у меня; я принял вызов; бьемся завтра на рассвете. Вы, Пушкин, станете моим секундантом?

– Я люблю кровавый бой; но не кажется ли вам, Рославлев, что Арбенов вызвал вас с умыслом? Пронюхал каким-то образом цель вашего приезда и только потому решил стреляться с вами. Вы ведь подозреваете его, как и я? Тоже считаете Арбенева конфидентом иноземной державы?

– Да, вы правы, Пушкин. Я здесь для того, чтобы, для начала, спросить вас о ваших подозрениях, и буде они совпадут с моими, учинить негласный обыск. И, если обнаружится что-то его компрометирующее, заковать Арбенева в железы и доставить в Петербург в крепость для дальнейшего дознания.

– Я тоже подозреваю Арбенева, однако теперь ваш стройный план весь идет насмарку. Я сам горяч и необуздан, мне позволительно, в жилах моих течет африканская кровь. Однако согласитесь: подлец преднамеренно, как говорят англичане, провokatировал вас. Подловил и вызвал. И что же теперь? Вместо кандалов и крепости ему светит быть, как герою, убитым в поединке! Либо, того хуже, он убьет вас и тогда сумеет безнаказанно скрыться!

– Ах, Пушкин, ни слова больше!.. Как вы правы!.. Я не смог сдержать себя; проклятая жженка ударила в голову!.. Что ж! Если завтра фортуна повернется ко мне спиной, вам предстоит закончить мое дело. И мы поступим вот как...

Наутро они съехались в роще на окраине города. На двух колясках прибыли полковник Рославлев, Пушкин в качестве его секунданта, а также доктор Петр

Иванович Шрейбер, добрый знакомый Инзовых.

Арбенева пригласил себе секундантом поручика Таушева.

Бились на пятнадцати шагах. Секунданты проверили пистолеты.

Прозвучала команда: «Сходитесь!»

Полковник выстрелил первым. Пуля лишь оцарапала щеку Арбенева. Он отшатнулся, а затем прицелился и выстрелил в повернувшегося боком Рославлева. Пуля ударила ему прямо в висок. Он повалился наземь.

Доктор Шрейбер бросился к нему. Через минуту он встал и снял шляпу: «Убит!»

Скупая насмешка озарила лицо Арбенева. «Поедемте, поручик!» – бросил он своему секунданту.

– Нет, постойте! – вдруг бешено воскликнул Пушкин. – Вы думаете, вышли сухим из воды? – вскричал он, адресуясь к Арбенева. – Видит Бог, это не так! Вы подлец, милостивый государь, и только что совершили гнусный поступок! Вам неведомо понятие чести! И теперь я требую у вас удовлетворения!

– И вы хотите удовлетворения? Тоже? Что ж! Извольте! – с ледяным спокойствием проговорил Арбенева. – Я проучу вас прямо здесь и сейчас!

– Доктор, не угодно ли вам стать моим секундантом? – обратился к лекарю Пушкин.

– Прямо теперь? И здесь? – забормотал тот. – Когда только был убит господин полковник? А впрочем, что ж. Ему не поможешь! Извольте!

Поручик заново зарядил пистолеты. Доктор с поклоном подал их Пушкину и Арбенева.

Стрелялись на тех же условиях, у тех же барьеров. Тело полковника прикрыли шинелью.

Пушкин, который всюду ходил с железной палкой в осьмнадцать фунтов[11 - Более семи килограммов.] весом – упражнял руку, чтобы всегда была верной, и стрелял, тренируясь, едва ли не ежедневно, в себе не сомневался. Но сумеет ли он пережить выстрел Арбенева, которому он, по известным ему самому (и покойному Рославлеву) соображениям, мысленно отдал право стрелять первым?

Они стали сходитьсь. Пушкин подошел к барьеру и спокойно ждал, повернувшись боком и закрывшись пистолетом. Арбенов медлил. Наконец он прицелился и выстрелил. Пуля сбила шляпу с головы Пушкина.

Первым порывом Арбенева после своего выстрела было – бежать.

– Стойте, милостивый государь! – громовым голосом скомандовал Пушкин. – К барьеру!

Сузив глаза, тот стал боком. Пушкин прицелился.

– Вам должно быть известно, как я стреляю, – молвил он, обращаясь к сопернику. – Из знакомого пистолета я в карту промаха на пятнадцати шагах не дам. А этот пистолет мне знаком. И уж ваш толоконный лоб или подлое сердце прострелить сумею.

– Хватит разговоров! – воскликнул его визави. – Действуйте!

– Но я могу пощадить вас. Я выстрелю на воздух, если вы прямо здесь и сейчас откроете мне, ради какой державы ведете свою шпионскую деятельность? Как давно являетесь ее конфидентом? Какой персоне поставляете свою информацию?

– Стреляйте, Пушкин! Я не скажу вам ничего! – вскричал Арбенов, однако голос его предательски дрогнул.

– Говорите же! И я пощажу вас! Во имя памяти полковника Рославлева! Говорите!

– Ах все равно!.. Я раскрыт, верно? И моя деятельность, как конфиденнта, кончена... Я же не смогу убить и вас, Пушкин, и вас, любезный доктор, и вас, поручик!.. Так смотрите же, Пушкин! Вы дали мне слово! Надеюсь, не выстрелите.

– Выстрел мой останется за мною. Говорите же!

– Я собираю информацию для английской короны; действую я как confident его королевского величества, со времен Венского конгресса 1814 года. Чего ж вам еще?

– Кому вы поставляете вашу информацию?

– Английскому посланнику сэру Эдварду Дисборо. Вы удовлетворены?

– Вы презренный трус, предатель, бесчестный человек и убийца!

– Хотите, чтобы я снова вас вызвал, Пушкин? Не выйдет. Лучше стреляйте, если имеете такое намерение!

– Что ж, – воскликнул молодой поэт, – выстрел этот мой теперь останется за мною! И берегитесь! Если я когда-то встречу вас, не сомневайтесь: продырявлю ваш лоб с наслаждением.

Арбенин только усмехнулся и через секунду уже вскакивал на своего коня.

Больше его ни в Кишиневе, ни в России не видели.

Говорили, что через бессарабские земли он пробрался в охваченную восстанием Грецию, а там ему удалось проскользнуть на английский корабль и на нем доплыть до Альбиона.

Выстрел навсегда остался за Пушкиным – как и перстень с иудейскими письменами, который убитый полковник Рославлев завещал ему в ночь перед дуэлью в случае своей смерти.

Пушкин, великий мистификатор, и в письмах своих, и в стихах недвусмысленно давал понять, что кольцо подарено ему на Юге некой красавицей; потом пушкинисты называли имя Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, жены следующего (после генерала Инзова) наместника Новороссии графа Воронцова.

Правды так никто и не узнал.

Граф Милорадович, завербовавший Пушкина, был убит в несчастный день декабрьского возмущения, последовавшего за смертью царя Александра и воцарением Николая Александровича.

Перстнем этим поэт запечатывал свои письма – известно почти восемьдесят оттисков, сделанных им.

В ночь его смерти Василий Андреевич Жуковский, как он сам писал, собственноручно снял его с руки поэта и хранил у себя.

Но на том история печатки только начиналась.

Наши дни. Сентябрь 2021 года.

Москва.

Богоявленский

В Шереметьеве самолет подогнали к трубе, и Богоявленский, как пассажир «бизнеса», вышел в первых рядах.

Так хорошо было лететь, что хотелось, чтобы полет длился и длился. И жаль покидать гостеприимный салон. Сорокалетняя стюардесса, кажется, удивилась, что он не продемонстрировал к ней явного мужского интереса и даже телефончика не спросил. «Но нет, дорогая, прощай навсегда, и если навсегда, прощай – как говаривал Пушкин. – Ты останешься во мне прекрасным воспоминанием».

Внутри бултыхались как минимум бутылки две игристого, поэтому настроение поэта было самым радужным. Хотелось поскорей вернуться домой и приступить к разработке (как он это для себя по-шпионски определил) артиста Андрея Грузинцева, а не чтобы в пути настигло похмелье.

Сумку из багажа он тоже получил быстро: сказала наклейка на ручке: «priority». Сразу у ленты конвейера заказал себе через приложение такси, да выбрал машину бизнес-класса – не мог же он идти после столь впечатляющего полета на понижение!

Шофер, в безупречном костюме с галстучком, приветствовал его молчаливым поклоном. Сумку Богоявленский ему не дал, погрузил рядом с собой на заднее сиденье. Водитель протянул ему транспарант: «Я глухонемой», а потом продемонстрировал на своем телефончике адрес Богоявленского: Московская область, поселок Красный Пахарь, улица Дачная, дом семь.

Можно было только порадоваться такому извозчику – обычно в дорогих машинах водители молчаливы, но иногда все равно приходится сдерживать болтунов.

Богоявленский не стал рассматривать выдранную страничку из журнала – хотел сэкономить впечатление до того момента, как разложит лист на столе в своем кабинете, рассмотрит перстень в настоящую, не электронную лупу. Не хотелось раньше времени разочаровываться, если вдруг ошибся, и одновременно крепла уверенность в том, что украшение – то, что он ищет. Ведь не могло же оно пропасть бесследно! Должно ведь оно было рано или поздно проявиться! И ответ на вопрос, знает ли Грузинцев, чей перстень он носит, тоже предстояло оставить как минимум до завтра.

После Пушкина судьба печати до какого-то момента оказалась изучена. Про нее даже в «Википедии» в отдельной статье писали.

Сначала им владел Василий Андреевич Жуковский – по праву неофициального наследника «солнца русской поэзии», друга, посмертного душеприказчика и особы, близкой к престолу. «Снял я кольцо с мертвой руки его» – так, кажется, выражался Василий Андреевич о пушкинской печати.

Потом талисман достался – что вполне естественно! – сыну Жуковского по имени Павел и по отчеству Васильевич. И он, Жуковский-младший, в конце концов

заварил ту кашу, которая и по сию пору никак не расхлебается.

А именно: в семидесятых годах девятнадцатого века Павел Васильевич решил, что перстень должен достаться наследнику славы Александра нашего Сергеича. И хоть в ту пору, в 1860-х и 1870-х, творили, к примеру, Тютчев, Фет, не говоря уже о Некрасове, Жуковский-младший совершил финт ушами и передал талисман не кому-нибудь, а Ивану Сергеичу Тургеневу.

Тургеневу, подумать только! Почему, спрашивается? Тургенев, конечно, стихи пописывал, и целые поэмы печатал, и слова романа «Утро туманное, утро седое» ему принадлежат. Но в ту пору, когда ему перстень достался, он даже предсмертные свои стихотворения в прозе еще не написал: ты одна, дескать, мне отрада, великий, могучий, живой и свободный русский язык.

Почему же Жуковский-младший назначил кольцо ему – прозаику, а не никак не поэту? Нет ответа. Но факт остается фактом.

Потом восторженный Тургенев по поводу волшебного кольца говаривал следующее... Богоявленский достал из сумки планшет, нашел нужную интернет-закладку и стал читать: «Я очень горжусь обладанием пушкинским перстнем и придаю ему так же, как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому как высшему представителю русской современной литературы с тем, чтобы, когда настанет «его час», граф Толстой передал мой перстень, по своему выбору, достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями...»

Но где господин Тургенев об этом говорил? Предъявите, что называется, источник! Ведь ни в дневниках классика, ни в письмах его ничего подобного нет! Вот ссылка: да, но то не статья тургеневская была, и не письмо, а просто с его слов записал какой-то русский вице-консул в Далмации (или, по-нашему, Хорватии и Черногории) Василий Богданович Пассек... Пассек любил пописывать, в «Русской Речи» публиковался, мог и наврать или приукрасить для красного словца... Да и сам Иван Сергеич восторженным господином был, мог и не такое, в приступе великодушия, припустить...

Хотя странно – правда, странно! – что Тургенев хотел Толстому пушкинскую печатку передать. Ведь оба классика едва не поубивали друг друга...

История перстня – глава третья.

Минул 41 год со времени его первого явления.

1861 год, май.

Российская империя, имение Степановка Мценского уезда Орловской губернии

Итак, два будущих классика русской литературы прибыли в гости к третьему... Но нет, третьего в классики записывать поостережемся, не выбился он чином, хотя в школьные хрестоматии попадал неоднократно. Чего стоит хотя бы это: «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало...»[12 - А. А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом...»]

Скажем иными словами: Тургенев и Толстой приехали вместе в гости к Афанасию Фету – звучит, честно говоря, как строчка из Хармса: «Однажды Тургенев, Толстой и Фет...» Хотя при чем тут Хармс! Ведь в самом деле: имеется известный, изученный, доказанный факт: прибыли оба будущих классика в имение Фета – Степановку...

Богоявленский на минуту отвлекся, чтобы посмотреть в инете, а что собой представляет сие имение нынче. Задал в поиске название. Однако нескольких любительских фотографий и заметки в «Живом Журнале» оказалось довольно, чтобы понять: ничегошеньки к двадцать первому веку от него не осталось. Заросшие поля, куда проехать можно только на «газике», памятный камень да мелеющий заброшенный пруд, о былой рукотворности которого напоминает лишь его идеальная овальная форма...

Надо иметь в виду, что тогда, в 1861-м, как Толстой, так и Тургенев не слишком походили на свои канонические изображения, с которых впоследствии наделали гравюр, понарисовали портретов и понаразвешивали в кабинетах литературы по всей Рассее-матушке. Лев Николаевич мало общего имел с полуопереточным лысым босоногим стариком с окладистой седой бородой, в посконной рубахе, подпоясанной кушаком. Начать с того, что тогда, в мае 1861-го, ему еще и

тридцати трех лет не исполнилось, по нынешним хипстерским временам – молодой, практически не оперившийся, ищущий себя... Хотя граф уже успел повоевать на Кавказе и в Крыму и прогреметь среди читающей России своими «Севастопольскими рассказами» и трилогией о детстве-отрочестве-юности.

Одет Лев Николаевич был щегольски, по парижской моде, и после офицерских усов еще только запуская свою знаменитую бороду, которая была далеко не такой окладистой, как в старости, и, разумеется, нисколько не седой, а очень даже черной. Граф к тому моменту вернулся из длительного путешествия по Европе, в Лондоне он слушал лекцию Диккенса, не раз встречался с Герценом и, в видах образования крестьян, изучал труды современных педагогов. Он содержал в своем имении школу, был не женат, но жил с крестьянкой, которая в прошлом году родила ему сына, вел скрупулезный дневник и слыл азартным, но неудачливым карточным игроком.

Тургенев был Толстого на (без малого) десятилетие старше; минуло ему сорок два; борода его и волосы начинали седеть. Мужчина он был корпулентный, высокий (даже по нынешним временам – 192 сантиметра), с намечающимся брюшком. Он уже прогремел своими произведениями не только в России, но и по всей Европе. Его «Записки охотника» и «Му-му» перевели на европейские языки, в России имели большой успех «Дворянское гнездо» и «Накануне».

Когда-то Тургенев Толстого, как старший товарищ, поддерживал. Благословлял бросить воинскую службу и заниматься одной литературой, помогал печататься. Одно время Толстой даже жил у него на квартире в Санкт-Петербурге.

Однако теперь отношения у будущих классиков испортились. Бог его знает, зачем их свел в тот раз Фет? Помирить? А может, наоборот, стравить еще сильнее – водился за Фетом, говаривали, подобный грешок?

Разлад начался, когда у Тургенева случился роман с единственной и любимой сестрой Толстого – Марией. Классик даже описал их отношения в короткой повести «Фауст». Главный герой, явное альтер эго автора, знакомится с барышней по имени Вера с (забавно звучащей для современного уха) фамилией Ельцова. Когда ей исполняется семнадцать, герой просит ее руки, но почему-то не у самой Веры, а у ее матери, Ельцовой-старшей. Мать ему отказывает, и тот, как будто даже радостный, уезжает восвояси. Проходят годы. ГГ (Главный Герой) возвращается в деревню и снова встречается с Верой. Мамаша ее умерла, а она сама благополучно замужем и уже имеет пару детей.

ГГ замечает, что героиня совершенно не любит художественную литературу, и берется ее образовывать – явный, конечно, предлог в рассуждении чего-то большего. Он всё читает ей (на немецком) гётевского «Фауста» в китайской беседке в ее имении – до тех пор, пока Вера ни восклицает однажды: «Зачем вы это делаете! Ведь я люблю вас!» – и целует его. Влюбленные улаживают встречу у задней калитки, ГГ приходит – а Веры нет.

В имении тем временем – суета, отъезжает врач. Оказывается, когда Вера бежала на свидание, ей явилась умершая мать, запретила связь на стороне и сказала, что заберет ее с собой.

И – забрала. Вера через пару дней умирает, а ГГ занимается тем, что очень любили делать тургеневские герои: тоскует, сетует и плачет.

Возможно, в повести Иван Сергеевич потаенные свои желания воплотил – потому что в реальной жизни, хоть роман случился, он никакой руки и сердца у Марии Николаевны Толстой не просил, а, напротив, сбежал в Париж к своей возлюбленной, певице Полине Виардо.

Марию Николаевну Толстую многие, прочитав повесть, узнали. А ведь она в ту пору, как и ее литературное воплощение, была замужем, да еще обременена не двумя, как в произведении, а четырьмя детьми. Муж ее (кстати, ее собственный троюродный брат, по фамилии, не поверите, Толстой) оказался, как все уверяли, редким подлецом и проходимцем, не пропускал ни одной юбки, много пил и супругу тиранил. И Мария была бы счастлива, конечно, с супругом разойтись и стать женой европейски образованного барина-литератора Тургенева.

Но увы, увы. Только Мария Толстая решилась от супруга уйти и потребовать развода, Тургенев от ее любви практически сбежал – за что пылкий Лев Николаевич, который свою сестру обожал, неоднократно, в дневниках и письмах своих, а может, и в заглазных разговорах, последнего «подлецом» именовал. Да и кому понравится, когда горячо любимую сестру, пусть и в художественном произведении, но «убивают»!

Притом Иван Сергеевич – утонченный, рафинированный и никак не решающийся никому из своего круга предложение сделать – имел к описываемому времени, к 1861 году, дочь, тоже от дворовой, и уже на выданье. Звали ее Прасковья, но Тургенев переименовал ее в Полину, или Полинетт (то есть маленькая Полина), и

отдал воспитываться в семью своей возлюбленной Виардо.

«Тесно сойтись нам невозможно, – писал Тургенев о Толстом (все тому же Фету), – мы из разного теста слеплены»[13 - См. письмо И. С. Тургенева А. А. Фету от 9 (21) октября 1859 г.]

Но все-таки съехались они в мае 1861-го – зачем, Бог весть.

Встреча началась с юмористического эпизода, который тоже звучит как анекдот, а ведь на самом деле имел место быть, и даже в хроники жизни обоих писателей вошел.

К тому времени Тургенев как раз окончил своих «Отцов и детей». Напечатан роман еще не был, и Иван Сергеевич привез его своему младшему товарищу Толстому в рукописи прочитать. Тот взялся; прилег на диван – однако, уставший с дороги, р-раз и уснул. А когда проснулся, над брошенной рукописью – увидел спину удалявшегося из комнаты Тургенева. Естественно, у того обида возникла. Какого творческого человека не заденет, когда уважаемый коллега над его произведением похрапывает!

Эх, Иван Сергеевич, Иван Сергеевич! Знал бы он, сколько поколений школьников, принужденных читать «Отцов и детей», будут над романом засыпать – а сколько, напротив, станут им воодушевляться и вдохновляться, плакать над ним! – вряд ли на своего молодого литературного соратника обижался бы. Но ничего не мог с собой поделаться – разобиделся, хотя и слова не сказал, и дала о себе знать эта досада уже на следующий день.

Утром за завтраком будущие классики сошлись за чаем, рассажены по обе стороны от хозяйки дома, супруги Фета – Марии Петровны. Завели светский разговор, который скрупулезнейшим образом воспроизведет впоследствии муж ее Афанасий Афанасьевич – в пору пожалеть, почему во время всего жизненного пути каждого из титанов мысли и пера не сопровождал столь высоко литературно одаренный человек и не записывал за ними все их слова и действия.

Светская беседа зашла о той самой незаконной дочери Тургенева, Полинетт, которая в семействе Полины («большой») Виардо воспитывалась. Старший классик разливался, рассказывая о том, как барышне приставили англичанку-

гувернантку, а также что ей выдается особенная сумма на нужды благотворительности. Не терпевший ни малейшей позы и фальши Толстой понемногу закипал.

- Гувернантка-англичанка, - молвил Иван Сергеевич, - требует теперь, чтобы Полинетт забирала у бедных их худое белье, самолично чинила его и возвращала им.

- И вы находите это правильным? - с задором проговорил младший из классиков.

- Да что же тут плохого? - удивился Тургенев.

- А я считаю, что богатая, разряженная девушка, склоняющаяся над зловонными лохмотьями, представляет собой самую театральную, неискреннюю сцену.

Тут вскипел Иван Сергеевич. И впрямь: верх неучтивости и обиды высказывать родителю нечто осуждающее по поводу его отпрыска - пусть даже и незаконного! Раздувая ноздри, старший из классиков выкрикнул младшему:

- Я прошу вас мне этого не говорить!

- Да отчего же мне не говорить того, в чем я абсолютно убежден?

- Перестаньте, господа! - крикнул Фет, но было поздно.

Взбешенный Тургенев чуть не бросился на Толстого.

- Тогда я вам вашу рожу разобью! - выкрикнул он, а потом схватился за голову и выбежал из комнаты. Но через минуту вернулся и, весь бледный, попросил прощения у хозяев, Фетов:

- Простите, господа, мне мой недостойный поступок, я глубоко в нем раскаиваюсь.

Оба они, и Толстой, и Тургенев, немедленно отбыли из Степановки - каждый в свое имение.

Но история тем не закончилась. Последовал обмен гневными письмами; Толстой требовал дуэли; притом стреляться рекомендовал не по-дворянски, когда, дескать, съезжаются на опушке трое литераторов с дуэльными пистолетами и двое палят в воздух, а потом все вместе отправляются пить шампанское. Нет, он предлагал из охотничьих ружей, чтоб наверняка.

До сих пор считается, что дуэль не состоялась. В самом деле: свидетелей – секундантов или доктора – нет. Оба классика по этому поводу молчат. Не писали и не говорили о свершившемся поединке ничего, даже на смертном одре. Но кто знает (думал Богоявленский), может, они и съехались, как требовал Толстой, на опушке леса с охотничьими ружьями, один против другого, без свидетелей и секундантов?

Раз один на один и втайне, значит, оба приехали верхом.

Первым наверняка прибыл более горячий, нетерпеливый и молодой Толстой.

Вскоре пожаловал и вальяжный Тургенев.

Природа стояла в великолепии. Птицы наперебой приветствовали восход утреннего светила. Роса, обильно украсившая молодые травы, омачивала брюки дуэлянтов чуть не до колена... (Далее мы выпускаем два абзаца описания природы в духе г. Тургенева).

– Предлагаю, во избежание дальнейших кривотолков: тот из нас, кто останется жив в результате нашего поединка, скажет, что произошел несчастный случай на охоте, – задорно воскликнул давно спешившийся и обдумавший все детали Толстой.

– Не выйдет, – с мрачной решимостью ответил Тургенев. – Я оставил своим слугам письмо, в котором объясняюсь по поводу предстоящего поединка; приказал отправить его, в случае моей безвременной кончины, в Париж, госпоже Виардо.

– Какая жалость! Что ж! Если мне сегодня изменит удача, вы можете уничтожить свое послание и говорить всем, что я пал жертвой несчастного случая.

– И Фет, и жена его, и слуги наши все равно скажут, что между нами была ссора.

– Хорошо же! Тогда пусть оставшийся в живых сам найдет для общества объяснения случившемуся. А мы приступим. Предлагаю стреляться на пятнадцати шагах!

– На пятнадцати? Из охотничьих ружей?! Это невозможно! Мы попросту убьем друг друга!

– Хорошо, давайте на двадцати, но это моя последняя вам уступка, господин Тургенев.

– Ах, Лев Николаевич! Обычно в случае традиционной дуэли на этом месте всегда выступали секунданты и предлагали вышедшим на поединок примириться; я же, за неимением оных, сам предлагаю сделать это. Я был непозволительно груб с вами. Уже принес письменно мои извинения вам и семейству Фетов, чего ж еще?

Тургенев был бледен как мел. Толстой смотрел на него исподлобья, слегка набычившись. Иван Сергеевич продолжал:

– Да, мы разные люди, и нам никогда не сойтись. Но давайте пожмем друг другу руки, простим друг друга и разойдемся навсегда, чтобы больше никогда уже не встречаться!

– Вам нечего прощать меня. Я никак вас не оскорбил.

– Что ж! Вымаливать у вас извинений не буду. Я вижу, господин Толстой, вы не только храбры, но и упрямы. Не знаю, как на войне, но в современном общежитии у подобных господ есть много шансов, чтобы покинуть наш мир прежде установленного им времени. Например, в результате несчастного случая на охоте.

– Прекрасно же! Значит, будем драться.

Отсчитали двадцать шагов. В качестве барьеров бросили на траву свои пыльники, сразу ставшие мокрыми от росы. Стоя рядом, плечом к плечу,

зарядили ружья; наконец, разошлись по барьерам.

– Готовы? – выкрикнул Толстой.

– Вполне.

Тогда младший из классиков прокричал:

– Я хотел поставить вас к барьеру и посмотреть. Что ж, мое желание исполнено. И теперь я могу сказать, что я вас прощаю, – и с этими словами Толстой поднял ружье и дважды выпалил из двух стволов.

– Слава Богу! – воскликнул Тургенев, размахисто перекрестился и тоже выстрелил в небеса.

– Только никакого шампанского мы вместе пить все равно не поедем, – усмешливо заметил Лев Николаевич, – прощайте же, Иван Сергеевич! – Он подобрал с земли свой пыльник, приторочил ружье к седлу и вскочил на коня.

«Могло такое случиться? – думал Богоявленский, покачиваясь на кожаных сиденьях люксового авто. – Да запросто!»

Трудно сказать, что было бы, когда б дуэль и впрямь состоялась.

Толстой, боевой офицер, стрелял не худо.

Иван Сергеевич тоже был знатный и меткий охотник. Поэтому, если б решили биться до смерти, ждать беды. История российской литературы имела шанс потечь по совершенно другому руслу. Могли бы два (несостоявшихся) классика друг друга насмерть уложить – в дуэльной истории бывали подобные случаи.

Ладно, Тургенев – он к тому моменту основные свои хиты написал, вот и хрестоматийные «Отцы и дети» были готовы. Хотя все равно жалко – не появилось бы романов «Новь» и «Дым», и «Стихотворений в прозе» не случилось, включая гимна могучему, великому, правдивому и свободному русскому языку. Не было бы ни ужинов с Флобером и Доде, ни мощного продвижения русской литературы в Европе, чем европейски образованный Тургенев всю жизнь

занимался.

Но Толстой, если б пал на той дуэли, потерял куда больше – и мы вместе с ним! Ведь к 1861-му не написаны были ни «Война и мир», ни «Анна Каренина», ни (естественно) «Воскресение».

Не случилось бы толстовского учения и яростного отрицания православной религии, которые весьма расшатали и без того некрепкое здание самодержавия. И кто знает, может, ни Октябрьской революции в итоге не произошло бы, ни Махатма Ганди (корреспондент и последователь Толстого) не прозвучал с такой силой с толстовскими идеями ненасилия...

Однако тогда, в 1861-м, Тургенев письменно, хотя и в затейливой форме извинился: «...увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой входить теперь не место, я оскорбил Вас безо всякого положительного повода с Вашей стороны и попросил у Вас извинения. Происшедшее сегодня поутру показало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы Ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому я тем охотнее исполняю мой долг перед Вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами»[14 - И. С. Тургенев. Из письма Л. Н. Толстому от 27 мая (8 июня) 1861 г.].

Немного позже он укатил в Париж. Потом они еще обменялись нелицеприятными письмами – и в течение семнадцати лет друг с другом никакой связи не поддерживали.

Но спустя годы Лев Николаевич сделал первый шаг и написал старшему брату в Париж проникновенное письмо, оно датировано апрелем 1878 года и есть в собраниях сочинений: «...Пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и помню, как вы любили и мое писание, и меня. Может быть, и вы найдете такие воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренне любил вас. Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен»[15 - Л. Н. Толстой. Из письма И. С. Тургеневу от 6 апреля 1878 г.].

Как рассказывали, Иван Сергеич по получении письма плакал и немедленно отвечал в столь же высокопарном стиле: «С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне Вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к Вам; если они и были, то давным-давно исчезли, и осталось одно воспоминание о Вас, как о человеке, к которому я был искренне привязан; и о писателе, первые шаги которого мне удалось приветствовать раньше других, каждое новое произведение которого возбуждало во мне живейший интерес. Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений»[16 - И. С. Тургенев. Из письма Л. Н. Толстому от 8 (20) мая 1878 г.].

«Вероятно, – думал Богоявленский, – именно к тому времени примирения и относится столь странное желание Ивана Сергеевича передать после своей кончины пушкинскую печатку Льву Николаевичу».

Кстати, интересно, как сложились потом судьбы тех, кто на дальних планах, как внесценические персонажи, присутствовал при знаменитой ссоре 1861 года.

Богоявленский нашел в Сети закладки, которые некогда делал, когда начинал разыскивать пушкинское кольцо и готовил очерк для журнала.

Свою внебрачную дочку Полинетт Тургенев вскоре выдал замуж с громадным по тем временам приданым в 150 тысяч рублей. В браке она оказалась не очень счастлива, двое детей в итоге не принесли ей внуков, и род Ивана Сергеевича по прямой линии пресекся. Умерла Полина-младшая во Франции в новейшие времена, в 1918 году.

«Было бы логично и интересно, если бы перстень отошел к ней, – думал Богоявленский, – но нет».

Мария Толстая, сестра Льва Николаевича, уйдя все-таки от мужа-негодяя, искала себя: влюбилась в шведа-виконта, прожила с ним три года, родила от него – коллизии ее жизни брат отчасти в «Анне Каренине» отразил. Когда умер старший сын Марии, она удалилась в монастырь в Шамордино. Именно к ней Толстой бежал перед смертью из Ясной Поляны, она его уговаривала исповедаться и причаститься, но не вышло...

А после примирения 1878 года классики продолжали дружить, и Тургенев Толстого несколько раз в Ясной Поляне навестил. Они, кажется, больше не ругались – во всяком случае, история сие не зафиксировала. Иван Сергеевич умер в 1883-м от рака – вот только Полина Виардо после кончины Ивана Сергеевича никакого пушкинского кольца никакому Толстому (как ее возлюбленный обмолвился) не передала. И правильно сделала – а кто бы, спрашивается, стал передавать!

Потом еще долго, долго Павел Васильевич Жуковский просил-умолял, чтобы она кольцо таки вернула, и дело кончилось в конце концов тем, что...

Богоявленский оторвался от своих мыслей. Они приехали.

Водитель помог ему донести сумку до крыльца. Литератор, растроганный и этой подмогой, и самой фигурой глухонемого извозчика, который, несмотря на тяжелую инвалидность, трудился, зарабатывал денежки, отвалил ему полтысячи чаевых.

Кошечка по кличке Маша (как бы праправнучка той, что жила в его семье в Люберцах, когда он был ребенком) кинулась литератору в ноги. Стала тереться и жалобно мявкать, словно говоря: «Я соскучилась! Как долго тебя не было!» Ему тоже казалось, что да, отсутствовал он бог знает сколько, хотя прошло всего двое с небольшим суток. Раньше, чем разделся, Боголюбский наложил ей ложечкой из банки мокрого корма – плошка была вылизана начисто, хотя сухого стояло полное блюдечко. Кошка начала жадно есть, а он поменял ей туалет.

Кошка составляла единственную его отраду. Женат был Боголюбский трижды, да ни одна из жен в его жизни не задержалась. Единственный сын (от самой первой) давно вырос, работал где-то в Англии и знаясь с Боголюбским особо не хотел – а он и не настаивал.

Ему было хорошо одному. Сам себя в качестве жизненного компаньона он полностью устраивал. Ему говорили, что он эгоист и эгоцентрик, а он гордо отвечал: «Да! А каким еще должен быть поэт?» Ему говорили, что он погряз в одиночестве, взирая на жизнь из окна своего автомобиля, а он гордо отвечал: «Да, и что? Я сам себе интересней всего человечества».

Поговорить можно было с кошкой, с холодильником, телевизором или социальными сетями. Ни за кого ответственности он больше не хотел нести и ничего вмешательства в свою жизнь не терпел.

После шампанского хмель оказался нестойким. Он испарился еще на подъезде к дому. К счастью, итальянское игристое в «бизнесе» оказалось хорошим и не оставило ни больной головы, ни изжоги.

Время шло к полуночи. Слава богу, никто из соседей или случайных телефонных собеседников не будет мешать его занятиям.

Боголюбский поднялся на второй этаж в свой кабинет и взялся за дело, которое долго предвкушал: достал из кармана выданный в самолете глянцевый лист бортового журнала и стал рассматривать фото актера Грузинцева. Точнее, его палец с перстнем.

Именно указательный палец, а никакой другой убеждал, что перстень у артиста – тот самый, пушкинский. Насколько Боголюбский знал историю печатки, кольцо было здоровенным, потому Александр Сергеевич если его носил, то на большой палец надевал. С ним он и на портрете Тропинина запечатлен. И на портрете Мозера – как раз на большом, на левой руке.

Но теперь, за два века, человечество подросло – да и сам Пушкин далеко не гигантом был. Потому перстень, что ему был впору на большом, актеру оказался в самый раз на указательном. Тем более актрисе вообще выглядел гигантом: красивый накачанный шкаф, подлинный герой-любовник. Блондинка на снимке, едва достававшая ему до плеча, только оттеняла его стати.

Но Боголюбский сосредоточился на талисмানে. Да, золотой, или, как оперативники в протоколах пишут, желтого металла. Камень, как и говорилось в описании пушкинского кольца, похож на сердолик. И в лупу можно разглядеть на печатке нечто напоминающее иудейские письмена.

Знает Грузинцев происхождение перстня? Где взял? Давно ли он у него?

Да и кто он вообще, этот самый Грузинцев? Богоявленский отечественное кино и сериалы смотрел редко, фамилии такой никогда не слышал, смазливой рожицы не видел.

Поглядел в «Википедии». Стандартный (для актера) жизненный путь: родился на Кубани в 1984-м, вырос в Москве, поступил в ГИТИС. Сейчас играет в Театре на Маросейке, занят в антрепризах, много снимается. Женат, трое детей: двое от второго брака, один – от первого. Жена – Влада Грузинцева, урожденная Колонкова, у нее тоже есть дочка тринадцати лет.

Боголюбский открыл «Кинопоиск»: мама дорогая, актеру нет и сорока, а фильмография – больше семидесяти лент, в основном сериалы. И у каждого – оценки не выше семерки по десятибалльной шкале; стандартный серый поток с редкими (наверное) вкраплениями золотого: есть какие-то два сериальчика со средним баллом выше 7,5.

И ни одной «литературной» роли ни в кино, ни в театре. Ни экранизаций Пушкина, ни костюмных мелодрам, ни драм из жизни писателей – в героях сплошные капитаны полиции, летчики, военные, журналисты. Есть надежда, что печатка попала артисту в руки случайно, истории ее он не знает, подлинной цены не ведает.

Но давно ли она у него? Может, просто вручили ему для журнальной съемки как реквизит, покрасоваться? А после фотосессии кольцо у него благополучно отобрали и положили куда-то в запасники?

Из кухни поднялась в кабинет независимая Маша, остро пахнущая мерзкой кошачьей едой. Как у себя дома запрыгнула на стол, стала расхаживать по клавиатуре, тереться. Жалко было гнать ее, и так скучала животина в пустом доме двое суток. Оставалось терпеть.

Богоявленский актерскую породу немного знал, сталкивался с этим племенем. Догадывался, что Актер Актерычи нынче в интернетах царят. Он и сам соцсеть «Полиграм» временами пользовал – даже по вдохновению какие-то фоточки туда выкладывал, пейзажики. Или, когда ему, к примеру, вручали какую-нибудь затхлую литературную премию. Или организаторы подгоняли фоточки с читательских встреч в магазинах или библиотеках. Пусть конкуренты (а таковыми он воспринимал всех пишущих) полюбуются, какие толпы поклонников он до сих пор собирает.

Но ему, с его тысячьей друзей, с Грузинцевым, конечно, не сравниться. Он заглянул к тому на страничку, подписался на его аккаунт. Боже ты мой, у актера

без малого миллион последователей!

Богоявленский стал жадно просматривать его фото. Везде Актер Актерыч гарцевал, позировал, выставлялся. Демонстрировал свои «кубики» и идеальные бицепсы с трицепсами, стоя в ярко-голубой воде теплого моря; примерял с женой пижамы на фоне стильного дивана, плавал на яхте на Лазурном Берегу. Или качал мышцу в спортзале, ласкал девочек-дочурок и падчерицу, позировал на съемочной площадке. А вот парадные фотки, вся семья в сборе: артист в обнимку с женой, а рядом падчерица-подросток и две девочки крохи-погодки, наверное, четырех-пяти лет.

Встречалась и реклама: банка, тех же пижам, авиакомпании. Довольно косноязычно изложенные оплаченные восторги. Оставалось только развести руками: за какие-такие заслуги у Актер Актерыча и слава, и, как ее производное, деньги?

Однако, рассматривая в компе чужую ленту, писатель прежде всего глядел на руки артиста. На последних снимках и видео – этой недели, прошлой – кольца не было. Сердце у него упало.

Он стал отматывать интернет-ленту дальше! Вот он. Да, перстень впервые появился на руке Грузинцева четыре месяца назад, на фотографиях с кинопремии, одну из которых он углядел в самолетном журнале. И еще была парочка постановочных – не в тот же день, но близко. С черными пиджаками, водолазками, блейзерами, в которых при параде фотографировался артист, кольцо и впрямь гляделось идеально.

«Это могло значить все что угодно. Взял перстень на время. Поносил, разонравилось, сдал в ломбард или передарил. Забросил куда-нибудь в дальний ящик. Или вовсе потерял».

У фоток в интернете имелся неоспоримый плюс: их можно сколь угодно растягивать, увеличивать. Теперь Богоявленский рассмотрел кольцо во всех подробностях, убеждаясь в том, что оно – то самое.

Вот интересно: ведает ли Грузинцев провенанс украшения? Или для него это просто красивая, хоть и старинная, побрякушка? Если знает, что печатка пушкинская, один разговор. А если вдруг нет – совсем другой.

Что Богоявленский хотел с вожделенным перстнем сделать? Как его заполучить? Выкупить, обменять на что-нибудь, украсть? Он пока не имел ни малейшего представления. Для начала следовало познакомиться с Грузинцевым и убедиться, что кольцо находится у того в руках.

Но как?

Он же не будет к приме приходить, словно поклонник, с цветами на премьеру или ждать у служебного входа Театра на Маросейке. Или в директ ему писать. Нужно искать подходы.

Мася давно перестала ластиться и прилегла на диван, удовлетворенная тем, что хозяин никуда не исчезает.

Богоявленский встал из-за компьютера. В голове потихоньку складывался план.

Поэт спустился на первый этаж. Кошка последовала за ним. Проверила, на всякий случай, плоску с едой: ничего новенького не появилось – и укоризненно глянула на писателя.

Улетучившийся хмель требовал подзавода. В холодильнике у него всегда стояла наготове бутылка-другая шампанского: чтобы оказалось под рукой, если вдруг понадобится что-то отметить. Например, примирение на дуэли.

В баре, конечно, имелись и виски, и коньяк, и бордо с кьянти. Но он не то чтобы верил в старую студенческую, журфаковскую еще примету, запрещающую мешать напитки, изготовленные из различных продуктов: мол, начал с винограда, продолжай виноградом, а не пойлом из кукурузы или ржи. И не то чтобы решил отметить возникновение в его жизни вожделенного перстня – просто захотелось продолжить игристым. И он открыл бутылочку просекки – как раз недалеко ушел от самолетного ассортимента.

Богоявленский любил, чтобы все было красиво, даже если пребывал в одиночестве, наедине с собой. А может, когда один, особенно хочется красоты, потому что кто еще способен с той же силой оценить прекрасное, как не он сам! Поэт достал хрустальный бокал фирмы «Лерой и Босх», а бутылочку поместил в серебряное ведерко, куда льду из холодильника насыпал. Так шампанское

показалось гораздо вкуснее.

Время шло к часу ночи. Однако он знал, что киношники часто тусуются по ночам. Вечно у них то съемки, то пересъемки, то монтаж. В конце концов, он ничего не терял, правил приличия не нарушал.

Написал в вотсапе знакомому продюсеру Илье Петрункевичу. Нынче в кино рулят именно продюсеры. Время, когда главной фигурой в кинопроцессе был режиссер, осталось в советском прошлом. Теперь режиссер-постановщик – такой же наемный персонал, как девушка с хлопучкой или буфетчица; правда, самый высококвалифицированный и капризный. Но решают все не они, а продюсеры – как люди, которые башляют (или добывают деньги).

С Петрункевичем Богоявленский знаком был лет семь. Когда с деньгами совсем худо стало, знакомые привели его к нему: подхалтурить. Петрункевич поэту понравился. На вид он был маленьким, толстеньким, лысеющим живчиком. Однако при этом – важным, очень самоуверенным, если не сказать самовлюбленным. Но, главное, он не исчезал с горизонта неожиданно, не кидал с деньгами (как часто случалось в киношной среде), почти всегда был доступен и с почтением к самому Богоявленскому относился: помнил, еще мальчишкой, его огневой литературный дебют в конце восьмидесятых. Богоявленский взялся для Петрункевича причесывать диалоги в одном совершенно халтурном сценарии. Денег попросил немного, а работал на полную катушку, придумывал гэги – остроумные репризы.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

Неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Ты и я».

2

А. С. Пушкин. «Деревня».

3

А. С. Пушкин. «Деревня».

4

В те времена конфидентами именовали шпионов, действующих в интересах иностранных держав.

5

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».

6

А. С. Пушкин. «Талисман».

7

А. А. Вознесенский. «Мне четырнадцать лет».

8

А. С. Пушкин. «Талисман».

9

Украинская народная песня.

10

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».

11

Более семи килограммов.

12

А. А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом...»

13

См. письмо И. С. Тургенева А. А. Фету от 9 (21) октября 1859 г.

14

И. С. Тургенев. Из письма Л. Н. Толстому от 27 мая (8 июня) 1861 г.

15

Л. Н. Толстой. Из письма И. С. Тургеневу от 6 апреля 1878 г.

16

И. С. Тургенев. Из письма Л. Н. Толстому от 8 (20) мая 1878 г.

Купить: https://tellnovel.com/litvinovy_anna-i-sergey/ya-vse-skazhu

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)